

Владимир
СОТНИКОВ

«Сотников именно прозаик, упорно пишущий именно прозу в том ее значении, которое разработала русская классика, то есть художественную. Наличие Пруста, Бунина и Набокова в его собственном художественном опыте не настораживает, а лишь обеспечивает дорогу».

Андрей Битов

«Книга Владимира Сотникова представляет собой целое море тонкой, изящной, и глубоко продуманной, и хорошо написанной прозы».

Владимир Маканин

ПРОЛИТАЯ ВОДА

Владимир Сотников

Пролитая вода

«ЭКСМО»

Сотников В. М.

Пролитая вода / В. М. Сотников — «Эксмо»,

С пролитой водой сравнивается в Библии человеческая жизнь. Проливается каждый ее день, и невозможно собрать эти капли времени. Но можно увидеть в привычной повседневности отражение необыденного, скрытого и главного смысла. Это и происходит с героем романа. Его жизнь насыщена событиями – работа в школе, проезд из деревни в Москву, любовь, Север... И в каждом из этих событий соединяются две жизни: глубинная и поверхностная, внутренняя и внешняя. И герой – точка их преломления.

Содержание

Часть первая	5
1	5
2	10
3	11
4	13
5	16
6	19
7	22
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Владимир Сотников

Пролитая вода

Часть первая

1

Осенним, но теплым вечером, думая о том, что никогда не повторится, Иван Тенишев возвращался с охоты.

Поле, по которому он шел, было огромным, с дальними перекатами невысоких холмов, с одинокими, далеко отстоящими друг от друга дубами. Дубы словно напоминали, что время началось здесь бесконечно давно. Цепляясь ветром за вершины, оно то гудело, то затихало и прислушивалось само к себе.

И сейчас, во время особенной вечерней тишины, Иван Тенишев оказался посреди бесконечного чувства, растворенного в воздухе поля, в застывших силуэтах дубов, – и странная, сладкая тревога волновала его.

Давно позади остался лес, и поле скатывалось последним пологим холмом к холодной туманной речке, закрытой низкой порослью кустов. Поддернув плечом ружье, единственную свою ношу, Иван Тенишев вышел на тропинку, ведущую к мостику. Легко журчала вода, неостановимо и протяжно раскачивались по течению горющие косы травы.

На том берегу уже начинались огороды, и дым с потухающего костра поднимался вверх и растекался над туманом размытой синей полосой.

Иван Тенишев сошел с тропинки в сторону, в густую росистую траву, и остановился.

«Почему деревенская улица кажется тем печальней, чем больше смотришь на нее?» – подумал он и нашел взглядом дом, в котором жил.

В окнах горел свет. Удивление вспыхнуло в Тенишеве. Стараясь представить, кто бы мог приехать без предупреждения, он даже соглашался с тем, что не угадает сейчас и гость окажется другим человеком – но это не мешало радости.

Было тихо, калитка легко скрипнула, в доме отозвался какой-то звук. Тенишев остановился, ожидая, что откроется дверь на крыльцо. Стемнело, и свет в окнах стал ярче. И Тенишев вдруг вспомнил, что вышел из дома рано утром, в комнате горел свет – и не захотел возвращаться, чтобы выключить его, не захотел греметь замком: было в том утреннем холодном свете окон что-то провожающее и живое.

Он сел на ступеньку крыльца. Чувство ожидания встречи с кем-то, так и оставшимся неизвестным, затихало.

Мешало сидеть ружье, не снятое с плеча. Перекинув его на руки, Тенишев вдруг подумал: а не выстрелит ли сейчас, чтобы разорвать грохотом тишину.

Заскрипела протяжно калитка – от нее приближался огонек папиросы. Покашливая, предупреждая этим свое появление, подошел сосед, у которого Тенишев вчера взял ружье.

– Ну, большая добыча? – старик улыбался.

– Какая добыча – прогулка. А с ружьем веселей, спасибо.

Тенишев протянул старику ружье, встал, чтобы достать из карманов несколько патронов – все остались целыми.

– Нет же сейчас охоты, запрещена. А ружье так, из уважения дал, – по голосу было понятно, что старик все-таки волновался весь день и сейчас был доволен.

– Чего же не сказали – я не брал бы ружье, – Тенишев внимательно посмотрел на веселое лицо Петровича.

Неожиданным было это признание в уважении – всегда казалось, что старик недолюбливает недавнего своего соседа. Тенишев догадывался, здороваясь с ним, как Петрович относится к нему: «Что за жизнь – ни семьи, ни хозяйства. И дом словно без присмотра». Во всяком случае, старик всегда подолгу смотрел вслед Тенишеву, и казалось, что глаза Петровича насмешливо сожалеют о пропащей чужой жизни.

– Да я понимаю. Просто так идешь – одно. А с ружьем, по лесу – мыслить приятно. Голова строже, так мне думается.

Тенишеву вдруг стало легко, он чуть не засмеялся этим словам старика.

– Конечно, совсем другое дело. Может, как-нибудь, когда и охота будет, дадите. Зайцы там, куропатки. Зайцы, львы, орлы, куропатки...

Старик засмеялся, закашлялся:

– Ну, может, и не львы, а зайцы бывают.

Тенишев подумал, что надо бы, конечно, пригласить Петровича в дом, угостить, но стало грустно, что вместо человека, приехавшего издалека, будет сидеть за столом этот старик, и они будут угождать друг другу неестественным для обоих разговором, и все же спросил:

– Может, зайдете на чаек?

Старик немного помолчал – Тенишеву вдруг показалось, что тот прислушивался к его тайным мыслям, – и подмигнул, затапывая окурок:

– Другой раз. На зайчатину.

Не удержался, пошутил:

– Львы, наверно, несъедобные, а?

Тенишев улыбнулся, кивая.

– Ну, спокойной ночи. Или ты не спишь ночами? Как-то я под утро вышел, а у тебя свет горит.

– Со светом веселей, вместо ружья. – И решив, что перебирает со своим шутивным тоном, Тенишев добавил: – Иногда работы много по школе: тетрадки, планы, приходится и ночью посидеть.

– Конечно, работа есть работа, конца ей нету. Ну, пойду, отдохай.

– Спасибо, Петрович, спокойной ночи.

Было видно, как старик еще раз оглянулся у калитки. Тенишев подумал: «Все-таки надо было позвать в дом, посидеть».

На улице шаги старика сразу затихли, темнота стала неподвижной, лежали пятна света под окнами – казалось, что если и появится какой-нибудь звук, то только оттуда, из освещенной острой травой. Тенишев закрыл глаза – разницы между темнотой воздуха и темнотой закрытых глаз почти не было. Одинаково плыла и плыла лесная дорога, одинаковые деревья беззвучно покачивали ветками, и ни одного отдельного листа нельзя было на них рассмотреть.

И вдруг бабахнул двойным раскатом выстрел – так сразу, мгновенно показалось, и только потом стало понятно: одинокий самолет в ночном небе перешел звуковой барьер. Эхо затихало в воздухе, растворялось – казалось, как только оно растает совсем, грохот повторится опять. Но было тихо, только гул невидимого самолета растягивался вверх. Тенишев глянул на небо – оно непроницаемо чернело, наверное, вместе с темнотой затаили его и облака. Только в одном месте выделялась слабая вздрагивающая звезда.

Качнувшись вперед, Тенишев поднялся и начал шарить рукой по стене, нащупывая щель с запрятанным ключом. Почему-то стараясь не шуметь, открыл замок, чуть не упавший к ногам.

«Интересно, что бы подумал старик: свет в доме, и замок висит, – пронеслось в голове. – А может, он и приходил, пока меня не было, – да какая разница...»

Тенишев открыл дверь в ярко освещенную комнату и удивился неподвижности предметов. Все замерло перед ним, словно он застал врасплох скрытую, неизвестную жизнь, заставив ее застыть в последнем движении. Что-то похожее на страх шевельнулось в груди, и Тенишев поспешил раздеться, зашуршал одеждой и сапоги опустил на пол со стуком. Ноги все-таки устали – хорошо бы опустить их в воду, – и с удовольствием, наперекор лени и еще какому-то странному чувству, Тенишев вышел в сени за водой.

И когда, уже умытый и поддавшийся вдруг накатившей тяжести, он сидел на диване с разобранной постелью, облокотившись на стол – удобно и близко стоял стол у дивана, всегда после работы, не вставая, можно было завалиться спать, – Тенишев ловил себя на том, что ни о чем не думает, а просто смотрит перед собой, превращаясь только во взгляд. Он смотрел на книги, лежащие на столе, – слова на корешках были ступеньками, по которым легко и неведомо он спускался куда-то, и даже в этих ступеньках не было опоры. Казалось, свободней и свободней погружаются ноги в знакомую мягкую поверхность – она поддается под тяжестью, но не проваливается – и вот уже началось одинаковое, ровное движение, похожее на плавание в густой и теплой воде. Кто-то подумал вместо него: «Вот и остается свет гореть до утра, свет горит до утра, горит до утра», – это помогло ему легко встрепенуться, оглянуться на всю комнату и, понимая, что засыпает, отвалиться на диван. И еще он успел краешком чувства порадоваться непривычной легкости, с которой засыпал на этот раз.

Утром в окно постучали. Звук был тихий, осторожный, предназначенный только для спящего. Тенишев проснулся, не открывая глаз, и затаился в прислушивании. Может, звук этот был окончанием сна? Не раз Тенишев просыпался от какого-то громкого голоса, и тишина после него оказывалась уже явью, воспоминанием тембра слова, которое сразу же исчезало вместе с пробуждением. Но сейчас стук повторился, уже коротко, подтверждая себя, и Тенишев быстро рванулся с постели, путаясь в рукавах рубашки, и за одно мгновение в голове пронеслись и многие лица с разными выражениями, и вчерашние горящие светом окна – «сбылось ожидание» – распахнув дверь, он никого не увидел, только к калитке рядом с тропинкой тянулся след потревоженной травы.

Тенишев пошел по этому следу, ощущая холод от земли.

Он сел на пустую скамейку. Недалеко, на маленьком холмике, стоял трактор, наклоненный вниз. И Тенишев, глядя на него, подумал, что он сам похож на этот трактор, оставляемый на ночь хозяином вот в таком положении: чтобы утром, качнувшись вперед, скатиться с горки и завестись силой собственной тяжести – и так каждый день. И бессонница по ночам – это только несогласие с таким странным положением, подготовленным для предстоящего разгона, с прерывистыми остановками перед гулом, грохотом мотора.

Солнце, только начиная подниматься, светило вдоль улицы. Холодный и ясный свет проходил сквозь повисшие ветви березы – казалось, вот-вот налетит ветерок и оживит воздух. Тенишев подумал, что сейчас и начинается настроение дня, и он может сделать его таким, каким захочет, только надо оглядеться вокруг себя, и время пойдет веселей и объяснимей, соединяя весь день в одно чувство. Но он сидел неподвижно, словно оцепенев, и с каждой минутой ему все больше казалось, что уже поздно догонять то время, в котором медленно разворачивался ясный, но чужой день.

Улица наполнялась привычным шумом: заскрипели чьи-то ворота, звякнули ведра у колодца. Тенишев поднялся, чтобы уйти в дом, и увидел, как по полевой дороге, скатываясь к деревне, быстро едет телега. Пыли за ней не было: песок дороги за ночь уплотнился под туманом. Лошадь бежала рысью, и Тенишев подумал, что это едут цыгане. Телега остановилась у крайнего дома, заброшенного и словно отодвинутого всей улицей в сторону поля.

Вспомнился день, когда суетились там люди, нагружая стоящую рядом машину. Кузов был полон – мужик наверху все не мог найти места для стула, потом перевернул его, засунул

спинкой вниз между какими-то шкафчиками. Издалека ножки стула были похожи на засохшую ветку яблони за домом. Кто-то подошел к ставням – закрывать. Просмотрел их снизу вверх, попробовал рукой отделить от стены. Мужик с кузова крикнул что-то, тот, у окна, оглянулся и пошел во двор, возвратившись с топором и досками, чтобы забить окна. И слышными стали те слова, которые кричал мужик с кузова: «Просто так, для красоты», – о ставнях, которые и не могли закрыться. Машина уехала, мужик на ходу высунулся из кабины, показывая на дом и грозя пальцем стоящим поодаль детям. Машина удалялась по улице, ставшей сразу короче.

Потом в этом доме и поселились цыгане – время от времени уезжая и приезжая, становясь похожими на тех, кто уезжал перед ними.

Вечерами горел в саду костер, струились вверх искры, шевелились вокруг тени, и казалось, что на улице темнело быстрее. Окна в доме не отсвечивали, потому что были все так же забиты досками. Деревенские начали было ходить к цыганам, носить их детям молоко, но цыгане менялись через несколько дней – одни внезапно исчезали, приезжали новые – и местные, устав, наверное, каждый раз по-новому знакомиться, не приближались больше к этому дому. Однажды у старухи Марфы, жившей по соседству, пропала курица, и Марфа, недолго думая, пошла к цыганам – искать пропажу. От костра воняло палеными перьями, вода в котле начинала закипать, и старуха собиралась уже закричать, чтобы слышно было на всей улице, но не успела. Цыган, смазывающий колеса телеги, увидев ее и все сразу поняв, ловко схватил проходившего рядом мальчонку – своего сына, – поднял его вверх, перевернув вниз головой. В другой руке у него вдруг оказался топор. Негромко и твердо, глядя на Марфу, цыган сказал:

– Смотри, тетка, я ему руку отрублю, чтоб не крал.

Марфа попятилась, онемела и только на улице заголосила: «А ратуйте, люди добрые!» Когда сбежались соседи и Марфа кое-как объяснила, все показывая рукой на дом, увидели, как из-за угла выскочил мальчик и побежал, не оглядываясь, по дороге. Руки у него были целы. А через какое-то время выехала и телега, на которой сидела вся цыганская семья. Цыган ни на кого не смотрел и молча подергивал вожжи. А мальчик остановился в поле, дождал телегу, забрался в нее на ходу, и видно было, как он уселся рядом с отцом.

Кто-то выругался, кто-то засмеялся, и постепенно все разошлись. Марфа сидела на лавочке у своего дома, плакала и вытирала глаза фартуком.

Вспоминая все это, Тенишев вдруг подумал о том, что ожидание чьего-то приезда, застывшее вчера в горящих окнах его дома, могло относиться и к цыганам, и не приедь он сюда год назад, может, они выбрали бы себе именно этот дом.

Он представил, как сейчас располагаются цыгане в том крайнем доме, как уменьшается телега, тая под руками многочисленной семьи, и даже захотелось услышать этот веселый шум приезда. И сразу вспомнил, как оказался там однажды.

Он шел тогда из леса, прогуливаясь, как любил это делать по вечерам, чтобы вернуться в деревню на закате. Подходя к речке, слышал всхлипы. И когда был уже на самом берегу, понял, что в этих бессловесных всхлипах – просьба к кому-то несуществующему: спасти. В воде барахтался цыганенок, поднимая вокруг себя мутный ил со дна. До берега и в одну, и в другую сторону было метра по три, но мальчик не мог почему-то сдвинуться с места, словно кто-то тянул его за ноги. Тенишев рванулся вниз и уже скоро вытаскивал мальчишку на берег, не понимая, почему тот вырывается. Тенишев ожидал, что мальчик будет лежать, отдыхая – казалось, у него не осталось сил, – но тот сразу подхватился и побежал к деревне. И Тенишев побежал за ним, молча, не понимая еще, что случилось.

Когда он стоял уже возле телеги, напротив цыгана-отца, а цыганенок плакал, Тенишев почувствовал себя виноватым. Он вспоминал мутную воду и траву, по которой они бежали, и чувствовал, что вмешался во что-то, непонятное для него. Цыган обернулся к костру, постоял неподвижно, потом стремительно, подпрыгнув, как бы опрокинулся к Тенишеву, прошипел:

– Что тебе надо?

Стало тихо, и только глаза цыгана, казалось, все спрашивали и спрашивали: «Что надо?» Тенишев остолбенел, сил не было даже оглянуться на телегу, за которой спрятался цыганенок, хотелось что-то сказать, но слов не было, только руками он показывал на речку, на телегу – чтобы успокоить жуткие глаза цыгана.

Потом, вернувшись домой, Тенишев сушил одежду, долго не спал, а утром, когда вышел на крыльцо, увидел цыганенка. Шевельнулась мысль: «Вот сейчас я все узнаю», – но цыганенок, словно ничего не было вчера, стал просить:

– Молока дайте, – и смотрел прямо в глаза.

Тенишев завел его в дом, дал банку с молоком, которое он брал у соседей, – и было стыдно за себя. Он так и не смог спросить у цыганенка о вчерашнем, дал еще денег и остался один в доме, сидя на диване с широко открытыми глазами, пока не глянул на часы и не понял, что пора в школу.

Тенишев ждал несколько дней, что цыганенок придет еще, и хотел его расспросить, но цыгане неожиданно уехали.

И сейчас Тенишев подумал: а вдруг это приехала та самая семья, и та же телега стоит сейчас у крайнего дома улицы.

Стук в окно, телега на рассвете – это все складывалось во что-то, способное занять предстоящий день. Год, один год, как я здесь, и как далеко отступила прежняя жизнь, подумал он.

Целый день Тенишев никуда не ходил, читал, и чувство ожидания не отпускало его.

Когда небо начало темнеть и все звуки стали отчетливыми, он вышел на огород и пошел туда, где горел костер, напрямик, через чужие грядки.

Они вот так идут и рвут, что ни попадя, думал он.

Подойдя близко, Тенишев остановился.

Он увидел сборы. Заканчивали укладывать телегу, лошадь била копытом о землю, костер заливали водой. Тенишев остановился в темноте, радуясь, что не успел подойти. Когда телега была полностью нагружена, с нее соскочил цыганенок и стал мочиться на уцелевшие угли. С телеги засмеялись, цыганенок засмеялся тоже и побежал в темноту, догоняя своих. На фоне звездного неба чернел дом.

Постояв еще немного, Тенишев обошел дом вокруг.

Возвращаясь по тихой, застывшей до немоты улице, он захотел уехать куда-нибудь бесконечно далеко. Это желание, вырвавшись из прошедшего дня, изменило течение времени, и даже предстоящая ночь казалась уже пережитой.

2

Приехав после университета в эту деревню, Тенишев не мог привыкнуть к тому, что дом, в котором его поселили, сейчас принадлежит ему, хотя бы и временно. Стены, окна, крыльцо – все это казалось ненастоящим, как декорации, сделанные учителем труда для школьного театра. Учитель осознавал условность дома с открытым окном, но делал свою работу так, как только и научился однажды. Это было настоящее окно и настоящая стена, и Тенишев чувствовал, как учитель отводит взгляд от внутренней, невидимой залу стороны стены – разве можно было представить жизнь рядом с неоструганными досками и торчащими из них щепками, отколотыми вбитыми снаружи гвоздями?

Тенишев родился незадолго до того, как родители начали строить свой дом, и появление первых чувств совпадало с вырастающими стенами, стропилами, сцепленными вверху, как пальцы рук, – и главным тогда был цвет гладкого и свежего дерева. Дом строился медленно, постепенно добавляя себе новые чувства: каждое окно смотрело по-своему, расходящиеся лучи дощечек фронтона застывали, окружая игрушечное чердачное окошко. И наибольшее восхищение, до странной тревоги и дрожи в ногах, вызывало плавное и неостановимое движение верхнего края крыши рядом с огромными мягкими облаками.

Шло время, незаметно тускнел цвет когда-то яркой свежей древесины, и первые ясные воспоминания становились прошедшим временем детства. И время это тоже было общим с домом – одновременно начавшись, оно стало ощутимым и видимым в изменяющемся цвете стен дома, в неостановимом полете края крыши рядом с облаками. Ощущение легкого, почти неразличимого гула времени не исчезало никогда.

Там я вырос, а здесь просто живу, думал часто Тенишев, и кажущееся случайным слово «просто» почему-то всегда проступало колючей болью. Два далеко разнесенных в пространстве дома, два чувства дрожали, не соединяясь, как далекие звезды в ночном небе.

Вечерами, вернувшись из школы, Тенишев садился за стол и ощущал тревогу, заполнявшую сразу всю комнату. И однажды, в шутку, несложно рассчитал относительное расположение двух домов в пространстве. Оказалось, стол стоит под углом к тому положению, в котором Тенишев сидел в детстве в своей комнате за столом. Передвинув стол, совместив, не переставая при этом улыбаться, направления, он вдруг ощутил легкость и покой. Ощущение покоя скоро, впрочем, прошло, но Тенишев не стал больше передвигать стол, который теперь стоял у дивана, посреди комнаты.

3

Тенишев уже несколько раз включал свет, поднимался, хотя и знал, что все равно читать не будет, ходил по комнате, курил, скользя взглядом по корешкам книг, надеясь найти ту, за которой потянулась бы рука.

– Совсем разучился думать, совсем разучился читать, – проговорил он вслух, оделся и вышел на крыльцо.

Сквозь темноту с улицы донесся легкий шорох, потом кто-то засмеялся. Тенишев понял, что оттуда на него смотрят, и подошел к калитке. Посреди улицы он различил две фигурки.

– Не спится, Иван Михайлович? – голос принадлежал одной из десятиклассниц, но Тенишев не мог вспомнить, как ее зовут.

– Вы почему не на занятиях? – попробовал он пошутить.

– Покурить вышли, – они обе рассмеялись, но старались сдерживаться, чтобы не шуметь.

– Ну давайте покурим, – он достал сигареты и в темноте протянул пачку.

– Ой, попадет вам, мы несовершеннолетние, – и опять такой же смех.

Тенишев представил лицо той, что говорила, и удивился: не ожидал от нее такой раскованности, в школе она была отличницей.

– Значит, воздержимся. – Тенишев отошел к скамейке и сел.

– Да нет, зачем, мы огоньки спрячем, если кто появится, – они подошли и тоже сели.

Тенишев положил пачку на скамейку. Они опять засмеялись: «Чтобы не из рук в руки...» – и закурили, все же неумело.

Тенишев волновался и не знал, что говорить. Странно, он не чувствовал себя старше их. Вспомнилось, что похоже волновался, когда еще студентом знакомился с какой-нибудь девушкой в городе – так же, подсаживаясь где-нибудь в парке, – и почти всегда первый его вопрос был глупым: «Вы не меня ждете?»

Он усмехнулся и спросил:

– Вы не меня ждали?

Они засмеялись:

– А как вы хотите?

– Конечно, приятно, когда о тебе помнят.

– Вы говорите как старенький.

Тенишев подумал, что всегда подружки подбираются так: одна умненькая, а вторая при ней. Говорила все время только отличница.

– Нет, это необходимо не только стареньким.

– А вам скучно у нас в деревне, – это был не вопрос, а утверждение.

– Да нет, я вырос в такой же.

– Но учились в городе?

– Конечно.

– Все равно туда уедете.

Тенишеву показалось вдруг, что с этой девочкой можно наконец поговорить без кривляний, которыми сопровождалась все случаи его общения с местными. «Ой, холостой-незамужний, смотри, наши девчата...» – без таких прибауток не обходилась ни одна встреча.

– Уедете? – повторила она.

– Как раз завтра и собираюсь. Наверное, поэтому и не спится.

– Серьезно?

– Ну, пока ненадолго. Потом – видно будет.

Становилось прохладней. Из-за крыши соседнего дома показался край луны. Тенишев всегда, когда видел в этом месте появление луны, вспоминал: «Как будто пожар восстает...» Он проговорил эти слова вслух, но как бы про себя.

– Что?

– Это называется – стих. Строчка. Но перед ней еще есть: «Смотри – меж чернеющих сосен как будто пожар восстает». И перед ним тоже есть.

– Много?

– Чего – много?

– Строчек.

– Много – и до, и после. – Он улыбнулся, все больше жалея, что она не одна. – Но я почти все забыл, и кажется, с каждым днем забываю все больше.

Даже в темноте чувствовалось, что она тоже улыбнулась.

– Наверно, это как урок: надо вспоминать и повторять.

Тенишев подумал о том, что когда-то уже показывали на эту же луну, говоря эти же стихи – и сейчас, через много лет, пусть в шутку, но они повторились. Конечно, мысль эта была мгновенная и тоже не впервые к нему приходившая, но все-таки что-то внутри Тенишева шевельнулось свежей, забытой уже радостью. Он повернулся в темноте, посмотрел на ее освещенное слабым лунным светом лицо.

Он долго молчал – подружки начали перешептываться.

– Мы пойдем, поздно, – уже громче, слышнее прошептала она, и он встрепенулся от тихих, для него, слов.

Когда они ушли, Тенишев еще долго сидел. Странно улыбаясь, вернулся в дом и посмотрел на себя в зеркало. Он опять закурил, надел теплую куртку и вышел. Тенишев пошел по улице, черной и длинной, как предстоящая ночь. В одном из домов горели окна, но не очень ярко, скорее всего, зажжена была лишь настольная лампа. Палисадника у дома не было, окна выходили прямо к тропинке. Тенишев вспомнил, что здесь живет у какой-то старухи учительница рисования. Странное озорство, вдруг проснувшееся в Тенишеве, заставило его подкрасться к окну. Занавеска была коротковатой, и через тонкую незакрытую полоску была видна вся комната. За столом никого не было. Тенишев, чувствуя всю глупость того, что делал в эту минуту, все-таки не отрывался от окна, оглядывал комнату. В углу была кровать. На ней горой, на поднятых коленях, возвышалось одеяло. Вдруг оно опало, потом ноги раздвинулись, колени опять поднялись, собирая одеяло внутрь, одна рука легла сверху – и все это задвигалось, ноги то сгибались в коленях, то опадали, как при потягивании... На подушке, словно отрицая что-то, из стороны в сторону раскачивалось лицо учительницы.

Тенишев вдруг ощутил, что тело его застыло, и с трудом заставил себя отпрыгнуть от окна.

Он возвращался быстрым шагом в темноте, думая, что обязательно надо уехать.

Утром проснулся от громкого крика петуха, глянул в окно, мокрое от утреннего тумана, и потянулся за сигаретами. Совсем недавно он начал курить по утрам в постели, особенно в выходные дни, и часто после этого опять засыпал, ненадолго. И хотя после второго пробуждения во рту было совсем противно от прогорклого привкуса табака, он чувствовал, что это становится новой привычкой – из тех, которые появляются у взрослых людей и потом стареют навсегда вместе с ними. «И день уж наступил, я пепел отряхну...» – Тенишев улыбнулся и почувствовал себя бодрым, как человек, который вроде бы никуда не спешит и вместе с тем знает, что будет делать в следующую минуту.

4

Собрался он быстро, решив, что возьмет с собой лишь самое необходимое в дороге, и сумка оказалась совсем легкой.

Можно было ехать автобусом, но, выйдя за калитку и вдохнув прохладный утренний воздух, Тенишев решил идти пешком до железнодорожной станции.

И когда позади остались несколько деревень, как реки, протекшие своими улицами в одну сторону, и обратная дорога запомнилась лишь направлением, Тенишев вдруг понял, что не думает, а только слышит внутри себя отдельные и сливающиеся друг с другом слова: «верстою небывалой», «синий лес» и «при дороге», «последний ключ», «поля пустые», – они и были его чувствами. Он привык подолгу быть один, и сам не умел от себя требовать сказанного до конца и даже додуманного до конца – словно следил за дождем, изредка на мгновение выхватывая из общей завесы воды одиночные черточки капель.

За всю дорогу Тенишев видел мало людей, и когда он останавливался на высоких холмах, от которых внизу начинались деревни, ему казалось, что он не спустится по дороге, а перелетит над домами, над не заметившими его людьми.

В одной деревне он подошел к колодцу. Когда конец журавля отделился от земли и пошел вверх, показалось, что кто-то отцепился от него и отполз в сторону, в густые листья лопухов. Напившись, Тенишев глянул в колодец. Там, в глубине, словно сверкнула звезда – но это капли, донося сверху свет, исчезали в колышущейся черноте воды.

Остановка изменила настроение, с которым он шел до этого.

Выйдя за деревню, он почувствовал себя выброшенным в незнакомое место, из которого неизбежно надо выбираться, неизбежно тащить за собой время, особенно тягостное в непонятной, растущей тревоге. Казалось, он сам, прежний, ушел, не дожидаясь, вперед, а догонять нет ни сил, ни желания. Тенишев сбросил с плеча сумку и сел на траву у самой дороги. Исчез привычный шорох собственных шагов, и стало тихо. Но через минуту тишина уже оживала, гудел воздух, и высокие облака плыли, не останавливаясь. Он откинулся навзничь на траву и закрыл глаза.

Тенишев приходил к Дане после долгих блужданий по городу, словно этим и приготавливал свой приход. Осенью, когда еще не начинались долгие дожди, туман и изморось опускались вечерами на улицы, фонари сияли в мокрых ветках радужными застывшими пятнами, и под ними блестел мокрый асфальт. Ветра не было, лишь в подворотни втягивался сырой воздух, и хотелось вслед за ним поворачивать голову.

Лестница в подъезде, вызывающая раздвоенное чувство – и знакомая, и чужая, – как соседский дом в деревне, почти повторяющий родной, но с чужим запахом. Тенишев медленно поднимался, расстегивая плащ, и останавливался перед дверью. И всегда волновался. Одолеvalo непривычное ощущение, свойственное человеку, выросшему в деревенском доме, не допускающее соединения слов «дом» и «квартира», – и всегда, переступая порог на высоком этаже, боялся, что шагнет куда-то вниз.

Дверь открывалась, Даня улыбался – Тенишев, не видя своего лица, знал, что они сейчас похожи.

– Что, дождь на улице? Раздевайся.

– Ага, вот такой, – и Тенишев отряхивал плащ.

Играла музыка, было тепло и уютно. Собака стучала короткими лапами по паркету и усаживалась в своем углу. Даня ставил на кухне чайник, а Тенишев смотрел на крутящуюся пластинку, стараясь прочесть название.

– Есть будешь? – доносилось из кухни.

Странно, но Тенишев всегда отвечал наоборот: если хотел есть, то стеснялся этого и отказывался, а если был сыт, то говорил – да, буду, только немного.

На этот раз на столе появились рюмки, они выпили понемногу водки – за погоду, и сразу стало совсем тепло и спокойно.

– А что это? – спросил Тенишев про музыку.

– Да я и сам впервые слушаю; хорошо, – и, полузакрыв глаза, Даня поводит рукой по воздуху, сопровождая музыку.

– Да, неплохо, как переливы сна, понятно и необъяснимо одновременно. – Тенишев вдруг увидел в углу собаку и добавил почему-то: – Как грустные глаза собаки.

Даня тоже улыбнулся:

– У тебя получается говорить об одном и том же разные вещи, и все равно похоже, соглашаешься и с тем, и с другим.

Он подхватился к проигрывателю.

– Сейчас поставлю хорошую, сегодня у фарцовщика купил, называется «С меня довольно» – «Ich habe genug».

Когда кончилась мелодия, Тенишев только кивнул головой, улыбаясь: что, мол, тут скажешь.

Надо просто встречать обращенное к тебе, подумал он.

– А я сегодня квартиру искал. Даже в Подниколье забрел, надеялся комнату снять в каком-нибудь деревянном доме с садом, – неожиданно для себя сказал Тенишев.

– Ну и как, нашел?

– Да нет, просто нравилось там ходить по заросшим улочкам, пахло дымом, будто баню где-то рядом топили. Лужи разъезженные, обходишь их – за забор надо держаться, яблоки на голых уже яблонях, и несколько лип высоких на окраине, возле реки. И грусть какая-то странная, бодрая – все не можешь вздохнуть на полную грудь – как в этой мелодии.

Тенишев улыбнулся, посмотрел на Даню:

– Ты что-то сказал?

– Я завидую тебе: все понимаю, а боюсь, что представляю что-то вроде дачи. Ну, а квартира как?

– Да никак. Когда уже возвращался, зашел в один дом, спросить. Постучал, никто не отзывается, попробовал дверь рукой, она открылась. Темные сени, еще одна дверь – я и ее открыл. Полумрак, долго глаза привыкали, и запах – тяжелый и сырой, нетоплено. В комнате беспорядок – да нет, страшнее. На чем-то вроде кровати лежит закутанная в кучу тряпья старуха и на меня неподвижными глазами смотрит – без испуга, без выражения. Да одни глаза и виднелись, лицо тоже закутано от холода. И ясно, что старуха – не страшная, знаешь, не было того чувства, что баба-яга: глаза другие. А рядом на тумбочке, на полу навалены, разбросаны пузырьки, баночки, стаканы грязные. Я помню, что долго на это смотрел, стараясь найти что-нибудь чистое – ну, из чего она пьет, ест. Но все было одинаковое – забытое и ненужное. Я еще поздоровался и долго слышал свой голос. А старуха, наверное, один раз только и моргнула, словно доказала, что жива. Я попятился и в сенях наткнулся на кого-то, испугался. Отпрыгнул в темноте и выскочил, стою, а из сеней выходит почти такая же старуха, только разница, что ходит, и спрашивает нормальным, спокойным голосом: «Вы что-то хотели узнать?» – «Понимаете, я квартиру ищу, я не знал, что тут...» – «Ну что вы, какая здесь квартира, вы, наверное, студент?» Я кивнул. Она махнула рукой: «Там где-нибудь спросите, где дома покрепче, если кого на улице встретите, и спросите». И смотрит на меня, ждет, пока уйду. Я повернулся, пошел, она мне еще вслед сказала: «А я за Александровной ухаживаю». Я никого не встретил, да если б и встретил, то не стал бы, наверное, ни о чем спрашивать. Проходил мимо каких-то домов со светящимися окнами. Лестница там по склону оврага, помнишь, как на Секир-

ной горе – длинная, долго поднимался. Да и не сегодня это было, несколько дней назад, это я почему-то сказал, что сегодня. Не понимаю, зачем. – Тенишев усмехнулся.

Он посмотрел на собаку, уткнувшуюся мордой под дышащий бок, и позвал ее. Собака шевельнула ухом, ждала, что позовут еще раз.

– Поставить еще что-нибудь? – спросил Даня.

– Как хочешь. Выпьем? – Тенишев глазами показал на бутылку.

– Налей, только мне немного, а я пока пластинку найду.

Зазвучала музыка, и Тенишев заметил, что в комнате уже потемнело. Он сунул под стол руку, нащупал выключатель – на полу, у самого окна, зажегся красный шар лампы. Тенишев смотрел на красный свет и чувствовал странную обиду на самого себя. Он прислушивался к музыке, стараясь вспомнить, слышал ее раньше или нет. За окном прозвенел трамвай, и было похоже, что звук этот донесся от проигрывателя, вплетаясь в общую мелодию. Тенишев вспоминал свои слова, звучание голоса, и ему казалось, что вообще он все придумал, как придумал вначале, что ходил в Подниколье сегодня.

Наверное, так получилось для того, чтоб было больше похоже. На что? – подумал он.

Даня закурил, подошел к окну.

– Фонари зажигаются, – сказал он.

– Я вот ходил эти дни по городу и не то чтобы вспоминал, а просто думал, что хочу написать об этом, – неожиданно для себя произнес Тенишев.

Казалось, что в комнате стало тихо, несмотря на музыку.

Даня оглянулся, затянулся сигаретой, молча походил по комнате. Пригубил из рюмки, и Тенишев увидел, что сам еще не выпил. Но пить не хотелось, и он взял сигарету.

Некоторое время молчали.

– Понимаешь, – вместе с дымом выдохнул Даня, – наверное, об этом нельзя написать.

– Почему?

Тенишеву показалось, что он сам сейчас и будет отвечать себе, но молчал. Машинально он нащупал спички и все не мог достать одну, ускользающую.

– Не знаю, может, я глупость говорю, я не понимаю даже до конца, но мне кажется, что об этом нельзя написать. Нельзя написать то, что по-настоящему хочешь, о чем дано лишь думать. Второй раз – нельзя. А рассказав мне, ты уже пролистал пустые страницы, и они склеились намертво.

Тенишев сидел на скамейке у станционного забора и смотрел, как высохший скрученный лист перекачивается по неровному асфальту платформы. Шумели деревья у водонапорной башни, блестели рельсы, и можно было представить, что лето вернулось сюда. Где-то звякнул велосипедный звонок, донеслись детские голоса, и Тенишев представил, что, вернувшись, опять увидит эту станцию, только совсем по-другому, словно солнце переместится по небу и станет освещать все с другой стороны. И поездка стала похожей на исполнение условия странного спора, заключенного с кем-то, и спор этот не хотелось ни выиграть, ни проиграть, а просто ждать без азарта, пока пройдет безразличное время.

5

Загудели рельсы, и через минуту проплыли первые вагоны поезда, и высунувшиеся проводницы смотрели на Тенишева. Он оглянулся и увидел, что на платформе никого больше нет.

Кассирша, глянув в окно, черкнула в билете номер вагона, что остановился напротив, и Тенишев уже через минуту шел по проходу, надеясь увидеть пустое купе.

«Как все же успокаивает дорога», – думал Тенишев, сидя в медленном поначалу поезде.

Ни о чем отдельно взятом не думалось, любое мгновенное воспоминание сразу же улетало вместе с уносимыми назад деревьями, домами, и только плывущие рядом, опадающие и взлетающие провода надолго притягивали взгляд. И странно – скорость приносила больше отдохновения, чем самый глубокий сон. Звуки освобождались от тревоги, с которой текущее время наваливалось на Тенишева, сидящего неподвижно где-нибудь в тихой комнате. Тенишев любил дорогу за этот отдых, за это безразличие, в котором гасла тревога, не умеющая набрать силу.

В пути незаметно забывается то место, к которому едешь, и о нем не думаешь так, как думал на перроне. Недавно еще ты принадлежал одновременно двум станциям и двум перронам, и в поезде незаметно теряешь эту связь. Стук колес принадлежит только себе, какое бы слово этот звук ни напоминал, в нем нет направления. Если под стук колес закрыть глаза, через минуту помчишься обратно, и будет казаться, что скорость при этом лишь увеличивается. А во сне на опадающей при раскачивании вагона полке живые картины торопят друг друга в бесконечной очередности.

И Тенишев забывал, куда и зачем он едет – да и можно ли ответить на этот вопрос?

Утром, стоя в коридоре и глядя в окно, он чувствовал себя изменившимся, как после неожиданного счастливого события, и не знал, чему он улыбается, как ребенок, поймавший на себе чужой взгляд.

Выйдя на площадь, вспоминая почти забытый запах этого города, Тенишев уже ожидал, что сейчас будет замечать перемену в домах, поворотах улиц. Всегда при возвращении в знакомые места он долго это чувствовал и словно смотрел на сдвоенное изображение, которое должно вот-вот превратиться в четкое и ясное.

Он пошел пешком, наслаждаясь радостью узнавания – «неужели вот здесь...» – радостью, не ценимой спешащими людьми. Как легко, думал он, любить жизнь даже за это несоответствие повторений, в сущности, заполняющих всю жизнь до полноты, которую ощущаешь лишь в редкие минуты. Почти все время какой-то незримый сквознячок уносит из жизни главное чувство удивления и радости, которое уплывает, оставляя обманчивое впечатление всегда неполного, грустного счастья.

В парке Тенишев сидел на скамье, глядя на воду, блестящую под утренним солнцем, на качающиеся вверх-вниз тяжелые ветви деревьев. Здесь с Даней они как-то наблюдали детей, которые сачком вылавливали из воды рыбок, бросали их на асфальт и рассматривали, пока рыбки медленно задыхались. Тогда они долго и серьезно рассуждали о детской неосознанной жестокости, он вспомнил, как сказал тогда о сачке с рыбками «живая тяжесть», и Дане это выражение очень понравилось – он с грустью сказал: «А я ни разу не ловил рыбу».

Они потом пили, неумело таясь, сладкое вино на скамейке, и казалось, что и в воздухе, и на листьях разлит легкий сладкий привкус. В воздухе он был даже виден – розовый и неподвижный. Даня читал свои стихи, и Тенишев больше всего восхищался легкими, неуловимыми поворотами слов, вначале текущих прямо и плавно. И хотелось все виденное так же легко и незаметно повернуть вокруг своей оси, чтобы все чуть-чуть изменилось до еще большего счастья, – и он удивлялся возможности этого и какому-то странному, умирающему терпению внутри себя.

Похожее чувство было и сейчас. Тенишев находился в том состоянии, когда все, о чем так долго мечталось, сбылось само собой, без его усилий, и еще так много осталось в запасе радостного ожидания. Он вспоминал строчки стихов, которые читал тогда Даня. Казалось, что с тех слов, как с деревьев листья, слетели лишние чувства, и слова вздрогнули и распрямились в единственном своем значении. И в этом была их новая, навсегда застывающая жизнь – так осенние деревья открывают внутренний рисунок ветвей. «В воду деревья гляделись – там, где их листья остались, с ними опять в отраженье голые ветки сливались», – Тенишев чаще всего вспоминал эти строки, когда думал о Дане, и видел его лицо, отраженное в синеватой дымке неподвижной воды.

Легкий ветерок тронул воду, маленькие волны задрожали на месте, по воде побежали пятна ряби. Тенишев вдруг пронзительно и остро почувствовал, что его ждут. И не живущий реально в этом городе человек, на расстоянии нескольких остановок трамвая, а возникший в памяти, в воображении – показалось, Даня в это же мгновение почувствовал его присутствие.

Совсем недавно Тенишев начал понимать, что люди, которых он вспоминает часто, все более отличаются от самих себя и ждут, и ищут его в его же воображении, в странном мире без времени и привычного света – сквозь дымку, похожую на поверхность воды, встречает он их взгляды, и глаза стараются продлить встречу, но налетает легкий ветерок, и все пропадает под дрожащей водой.

Звуки города не изменились за год. Приглушенный в шелесте листьев отдельный стук трамвайных колес был главным в общем шуме. Тенишев пошел к мостику, под которым так же, как и раньше, переливалась вода через плотину. Взявшись руками за перила, он ощутил их внутренний глубокий гул, мгновенно соединивший его с далекими днями. Тенишев вспомнил фотографию, на которой он был снят точно на этом месте – и слушал шум воды, бесконечный и неостановимый.

Проплывали, кружась в водовороте, листья. Тенишев смотрел на свою тень, казалось, что она вот-вот сорвется течением и поплывет, растекаясь по воде, качаясь на волнах бесформенным пятном. Тенишев улыбнулся, заметив вдалеке, у поворота, торчащие наискосок удочки, к которым и поплыла бы его тень.

Он всегда завидовал людям, живущим у реки. Большая река или маленькая речушка – само по себе ее течение неподалеку от дома казалось Тенишеву необходимым дополнением к общему чувству жизни. Оно оберегало от той тоски, которой окружены одинокие дома, стоящие где-нибудь в поле. Он часто представлял себя выходящим на берег – с самого детства образ конечности жизни, какого-то окончательного края оставался неизменно таким – и смотрел над текущей водой на другую, новую землю, и даже воздух там казался иным.

Исчезновение из жизни чего-то важного, первая утрата соединилась навсегда с осушением речки, протекающей за лугом. Прямо по руслу экскаватор прокопал канаву, в которой вода медленно замерла, оставив слабый донный ручеек. Но течение все равно оставалось, и берег так же назывался берегом – речка не могла исчезнуть, пока еще живы были люди, видевшие ее прежней. Казалось, ночами она наливалась до краев, берега становились полными, и их старательно скрывал густой туман.

Сейчас, стоя над водой и глядя сквозь ветви деревьев на густой воздух парка, Тенишев чувствовал присутствие здесь важных для него слов. Их можно было прочесть каким-то тайным способом – вспоминалась детская игра, в которой на картинке, заполненной бесконечным количеством лишних линий, необходимо было найти очертания птиц и зверей. И после расшифровки, когда фигурки застывали в невероятных положениях, взгляд уже не обращал внимания на лишние, мешающие черточки. Картинка прояснялась одновременно с чувством прощания и жалости – тайна ее исчезала.

Тенишев иногда думал, что он сам напоминает такую же фигурку, затерянную посреди бесконечных и странных подробностей жизни, и все старается ускользнуть от чьего-то пристального взгляда.

Тенишев думал о том, что он, почти нечаянным движением изменяя ровное течение жизни, оказывался затерянным, заблудившимся в ней. И собственные ошибки уже не играли никакой роли, их причинность была совершенно случайна.

А внешние условия – туман, или буря, или метель – тоже не были причиной, а лишь фоном, на котором происходило действие. Приоткрывалась завеса настоящей, холодной жизни, не замечающей в себе человека. Заблудившись, он понимал ясную и невероятную до сих пор мысль: и без него все в мире остается по-прежнему, время не замирает, а прокатывается в неостановимом движении, как огромное колесо, даже не вздрогнув на небольшой выбоинке. Растерянный, Тенишев смотрит вслед, ему хочется подхватиться, обогнать это колесо и снова встретить его, но оно, не шелохнувшись, так же минует невидимое препятствие.

Тенишев, считая себя человеком нерешительным, одновременно знал, что эта нерешительность сложнее простого неумения быстро выбирать нужное решение. Ему была неинтересна любая прямолинейность, и, уваливая от нее, он прислушивался к тихому хору многих голосов внутри себя. И даже если это мешало в жизни, то мешало не ему, Тенишеву, а какому-то другому человеку, каким Тенишев должен был казаться окружающим людям.

Об этом он думал, уже стоя во дворе дома, к которому долго шел в этот день.

6

Становилось грустно от того, что он так много думает о несуществующих вещах, стал таким сентиментальным на каком-то, как он это называл, молекулярном уровне, не решается войти в подъезд, что вообще разыграл эту поездку, разыграл и постарался сделать значительными и свои воспоминания, и предстоящую встречу с Даней.

Да, я совсем не замечаю, что играю перед самим собой, ставлю себя на место каких-то несуществующих персонажей, подумал Тенишев.

Он не знал, удержит ли в себе все это при встрече с Даней. Часто так бывало, что, начиная говорить с ним, Тенишев становился более откровенным, чем перед самим собой, и даже не успевал удивляться своему откровению.

Смешной была сама выстроенность поездки: человек по внутреннему порыву едет в город, где провел несколько лет, идет на встречу с другом и вспоминает, вспоминает. Вот та самая незаметная и повседневная пошлость жизни, которую можно заметить иногда, встрепетувшись от внутренней иронии. Любое воспоминание – вымысел, и пошлость – его основа или хотя бы сопровождение.

Тенишев вошел в подъезд. Все было знакомо: исцарапанные стены, старый лифт. Сверху кто-то спускался по лестнице. Тенишев поспешил войти в кабину лифта. Нажал на кнопку и поехал вверх.

Дверь долго не открывали. Он позвонил еще раз – тремя короткими звонками, как и прежде. С Тенишевым редко, но бывали моменты точного угадывания предстоящей минуты, ожидаемого события, и он чувствовал, что сейчас, вот-вот, случится что-то важное. Само это недолгое время перед открыванием двери было уже каким-то необычным, свежим и запомнилось Тенишеву, заставляя потом его память прокручивать и прокручивать эти секунды, как кусочек сна, ясность которого никак не может заполнить все остальное пространство.

Дверь открыла мать Дани.

Тенишев удивился обычности встречи – будто они виделись вчера – и после приглашения вошел. Дверь закрылась, они стояли в прихожей.

– Я ненадолго. – Тенишев улыбался. – А Даня дома?

– Дани нет. Он уехал.

– Надолго? – Тенишев все не мог погасить своей улыбки, словно извинялся ею.

– Наверное, навсегда. Мы ждем от него первого письма.

Тенишев медленно догадывался. Он нахмурился, не зная, что говорить, и некоторое время представлял письмо, Даню, идущего по чужому, из какого-то фильма, городу. При этом Даня подбрасывал рукой карандаш – его самая назойливая привычка.

– Давно?

– Уже месяц.

Тенишев хотел еще что-то спросить, но почувствовал, как слова уплывают обратно, в сразу уходящее время. Молчание ненадолго показалось естественным. «Как на похоронах», – чуть было не проявились в мыслях слова, но Тенишев сразу смял их, зная, как не любит Даня даже предположительно говорить о болезни, смерти, если речь идет о живом человеке. Он вспомнил, как они писали объяснительные в деканат о пропусках занятий. Тенишев тогда написал, что болел. Даня взглянул на его листок, быстро схватил его и смял. «Об этом нельзя писать неправду», – сказал он, и Тенишев, сразу согласившись, понял это для себя навсегда.

– Проходи, попьешь чаю, ты же с дороги.

– Спасибо, я лучше пройду по городу. Если можно, я потом еще зайду.

– Конечно, только ты позвони, я приготовлю что-нибудь покушать.

Молча покивав на прощанье, словно показывая этим, что прощается не совсем, Тенишев вышел.

Он шел по двору и улыбался, стараясь вспомнить фразу о том, что «я знал, что он знает, что я знаю...» – потому что удивлялся, что не удивляется тому, о чем узнал минуту назад. Тенишев вспомнил, как стоял перед дверью, собираясь позвонить, и подумал, что тогда и появилось это чувство спокойного понимания событий, новостей, всего, чему в обычной жизни люди удивляются; все-таки игра в слова, в свои чувства уже захватила Тенишева. Вместе с Даней они придумывали похожие игры. По дороге с занятий, например, договаривались с одного взгляда на какого-нибудь человека отгадывать, что первое бросилось в глаза, и старались угадать первое впечатление друг друга. Тенишеву было труднее представить себя на месте Дани, посмотреть его глазами. Но он все-таки угадывал: их чувства просто совпадали, Тенишев говорил о себе, а получалось, что угадывал.

Были они совершенно разными, Тенишев всегда немного удивлялся, как могли они подружиться. Впервые он заметил Даню на картошке, на первом курсе. Не похожий на всех тем, что студенты обычно называют «маменькин сынок из обеспеченной семьи», с добавлением явной детскости и полным безразличием к своей внешности, доходящим до неряшливости, Даня как-то неестественно старался всегда примкнуть к компании, быть вместе со всеми. Особенно это ощущалось во время вечерних выпивок. Ребята с курса прятались где-нибудь на лужайке за сельским клубом, пускали по кругу бутылки с вином и, рассказывая свои истории, старались внести в них побольше красочных подробностей.

Тенишев чувствовал, что по-другому, чем все остальные, слушает эти разговоры. Потом как-то и Даня признался, что заметил в нем это.

– Я подумал тогда, что в тебе есть какая-то усталость. Не помню точно, но, наверное, я назвал это: не торопись жить, – объяснял он.

– Усталость у меня впереди, – усмехался Тенишев.

Даня, говоря искренне, немного преодолевал себя. Это напоминало его нежелание, запрет говорить о болезни.

Несколько раз на работе в поле Тенишев почему-то оказался рядом с ним. Потихоньку, изо дня в день – а работали за комбайном по двое – у них так и сложилась «бригада». Приходя утром на поле, Тенишев выбирал борозду и уже знал, что рядом будет работать Даня. Тенишев, понимая свой деревенский опыт, брал на себя больше работы и больше молчал. Даня же все расспрашивал – о комбайнах, о картошке, о коровах. Тенишев не мог поверить, что это может быть интересно, и, раздражаясь иногда от болтовни, выдумывал что-нибудь необычное.

Однажды, устав к вечеру, он сказал, что у них в деревне каждый мужик на ферме имеет небольшую скамеечку.

– Чтобы доить? – спросил Даня.

– Зачем доить, доят женщины, а мужики – чтобы коров... Подставят сзади скамеечку – у нас все малорослые – и поехали. От одного даже теленок родился, и морда похожая была.

Даня широко открыл глаза и застыл.

– Как?

– Так. И не такое бывает.

Потом рассказал, как мужики спорят на водку: кто выпьет из горлышка бутылку подсолнечного масла.

– Ну и что, выпивают?

– Масло выпивают, а водку не успевают.

– Почему?

– Мгновенный понос.

Подождав минуту, Тенишев продолжал:

– Или спорят, кто сможет в пивную пустую бочку, в маленькую дырочку, заправить мошонку.

– И что? – то ли верил, то ли притворялся Даня.

– Ну и сидит такой, новичок, на бочке, вытащить не может, а вокруг вся деревня от хохота ложится. Пока бочку топором не разрубят.

– Ну и деревня у вас, – говорил с удивлением Даня.

– Да они все такие, просто со стороны всего не видно.

– Глеб Успенский против тебя мальчик, – хмыкал Даня.

– А кто это? – притворялся Тенишев.

Речки у деревни не было. Вечерами, после работы, Тенишев шел иногда за огороды и смотрел, как заходит солнце. Он уже понял, что переживает несовпадение общего чувства этой деревни с той, в которой он вырос, и в этом проявлялась тревога новой непривычной жизни, такой чужой, что Тенишев мог занимать в ней лишь небольшое и определенное место. Предчувствуя все свои будущие переезды, новые впечатления, он с грустью понимал, что всегда будет ощущать границу между внешней и внутренней жизнью. Тенишев смотрел на солнце, касающееся горизонта, и все не мог отвлечься от детской мысли, что это заходящее солнце – то же самое, которое он видел и в детстве.

7

Бывают минуты, когда неожиданное известие, найдя человека в его привычной медленной жизни, после мгновенного удивления успокаивает чувства. И кажется, что этого известия ждал давно.

Тенишев не помнил, чтобы они с Даней говорили когда-нибудь о возможности уехать, поменять жизнь полностью, переместить себя в неизвестность, но сейчас ему казалось, что это таилось в каждом их слове как невидимая его часть. Так еще в детстве, на уроках, когда разбивал слова черточками, Тенишеву всегда казалось, что остается найденным какое-то смутное значение, которое не могло присоединиться ни к корню, ни к приставке. Неясное пятнышко мерцало, переплывало беспомощно по буквам, словно слепой круг под закрытыми глазами. И в разговорах с Даней Тенишев чувствовал возможность нового смысла, скрытого за произносимыми словами.

Сейчас, когда Тенишев шел по улице, он вдруг испугался, что это чувство исчезнет для него навсегда. Он испугался, что в одиночку, без Дани, ему трудно будет уловить тайну слов, подтекст самой жизни. Тенишев представлял себя ребенком, который несет на празднике большой красивый шар и смотрит на него, оберегая в одиночку от людей, а длинная ниточка так непослушна под ветром и плавает из стороны в сторону, пугая тем, что рука не успеет отвести встречу с каким-нибудь колючим чужим предметом.

Во время разговоров с Даней Тенишев подчинялся очередности своих впечатлений, новых чувств с их неожиданными открытиями. Так неторопливый пассажир, вспоминая свой далекий дом, не спешит перевести взгляд с размытой дождями пашни на близкие, взлетающие и опадающие провода, на мокрое окно вагона с дрожащими каплями. Воспоминания и новые чувства не торопили друг друга, все успевалось, и жизнь летела навстречу, позволяя не думать о себе как о времени. Все было настоящим – прошлое еще не проявилось в своем объеме, куда с годами втягиваются, перетекают и чувства, и мысли.

Как опасен душе человеческой опыт, думал Тенишев о самом себе и вспоминал при этом Даню.

Они бывали похожи, почти одинаковы тогда: Тенишев, обладающий лишь инстинктивной способностью слушать свой внутренний, не смешанный с чужим звучанием голос, доверяясь ему с уверенностью и улыбкой, – и этот человек с детским лицом и глазами, в которых печалью уже таился опыт, полученный по изначальному закону от предков, помогающий и тяготящий одновременно. Они удивлялись и радовались друг в друге тому, чего в каждом из них не было, и странным образом составляли какое-то общее целое. Может быть, каждый из них нашел недостающее пространство собственной души, отсутствие которого тревожит человека всю жизнь.

«Бедный Даня и не знает, что я тут думаю о нем». И вдруг он даже вздрогнул, вспомнив один обычный вечер, когда сидели они на закате в парке и Даня произнес слова, которым Тенишев тогда не придал никакого значения, посчитав их простой фразой после глотка вина: «Искреннее слово забывается, как брошенный в воду камень».

Тенишев зашел в маленькое кафе, сел за столик, глядя перед собой и представляя расходящиеся по воде круги. «Вечерело, поле угасало, а за полем небо начиналось, мне дорога близкою казалась...» – сами собой произносились слова.

Он заказал коньяк и кофе. Приглушенный абажурами свет от настольных ламп создавал впечатление, что и на улице уже вечер. Как будто длинный день уже прошел и сгустились сумерки. Все чувства, смешиваясь с воспоминаниями, успокаивались, и даже усталость становилась приятной.

Тенишев не оглядывался, не смотрел по сторонам. Ему казалось, что по какому-то сюжету, который выстраивался без Дани, словно кто-то пересказывал свою историю, сейчас должна произойти встреча со знакомым человеком, которого Тенишев не вспоминал долгое время. Этого не хотелось, и потому Тенишев чувствовал, будто скрывается от кого-то, и стоит только повернуть голову, как начнется притворная радость, притворные слова.

Собираясь в поездку, Тенишев специально не взял с собой записную книжку с телефонами и адресами бывших однокурсников, почему-то уверенный, что за это время и Даня ни с кем из них не встречался специально. Томительны подобные встречи, и тяжелеют со временем слова в пустых разговорах.

И вдруг Тенишев почувствовал, как Даня, находясь где-то далеко, за тридевять земель, боится вот этих воспоминаний о самом себе. Наверное, его внутренние запреты говорить о смерти и болезни получили и такое продолжение – страх за свое существование в воспоминаниях и мыслях другого человека, находящегося на огромном расстоянии, без надежды на будущую встречу. Да-да, нельзя изображать людей, и не только потому, что это может отнять их часть, их силу и здоровье, – это просто вмешательство в главный закон, предначертанный, но не терпящий далекого и точного взгляда.

И Тенишеву показалось, будто он вздохнул и, улыбнувшись, проговорил: «Ну хорошо, не буду, не буду». Но вместе с тем, он и был сейчас наполовину Даней, и думал о себе.

Гуляя однажды вечером после экзаменов, слушая, как Даня жалуется на духоту в летнем городе, неожиданно для себя Тенишев предложил ему поехать вместе на каникулы.

– Ты же никогда не жил в деревне.

– На картошке в прошлом году.

– Это не считается, поехали, проветришься, согласишься, где я вырос. Родители будут рады.

Даня посмотрел на него, остановился.

– Ты серьезно? А когда ты едешь, завтра?

Тенишев почувствовал, что сразу изменилось все его представление о будущих днях еще бесконечного лета, но продолжал уговаривать Даню:

– Никто не будет тебе мешать, побудешь в небольшой ссылке. Фотография для потомков останется: ты в телогрейке на фоне бревенчатой стены. А надоест – каждый день автобусы ходят.

Они выпили бутылку вина на скамейке в парке, потом зашли к Дане послушать музыку, и Тенишеву казалось, что им одинаково весело от этого неожиданного решения, от предвкушения завтрашней поездки.

Когда шел в общежитие, Тенишев думал с легкой досадой о том, что случайно сказанные слова больше всего изменяют жизнь.

В общежитии шумно отмечали окончание сессии, Тенишев долго не мог уснуть, пытаясь представить, какой увидит его деревню Даня. Он увидел сон – какие-то игрушечные домики, похожие на детские кубики, которые он пытался переставить, поменять местами.

И на всю жизнь, сколько бы ни вспоминал Тенишев то лето, его начало запомнилось ярким солнечным светом, отраженным в окнах стоящих на перроне автобусов, промытым ночным дождем асфальтом и странным новым чувством, которое возникает, когда пытаешься увидеть себя со стороны.

Даня забыл дома часы, отец, который его провожал, отдал ему свои, а Тенишев шутил:

– Они ему не понадобятся там, будем определять время по солнцу, по петухам.

Отец улыбался, говорил:

– Да-да, только не давайте там ему спать до обеда.

Автобус тронулся, и через минуту уже трепетали на окнах занавески, поворачивались сонные дома вдоль улиц. Чувство, с которым Тенишев всегда ехал домой, привычно всколыхнулось в нем, но впервые за многие годы он вдруг понял, что заметил это.

Он посмотрел на Даню, глаза их встретились. Даня сделал гримасу: «Ну, видишь? Так-то». Тенишев улыбнулся, закрыл глаза и откинулся на мягкую спинку сиденья. Чувство движения, дороги потихоньку захватывало его, как начинающийся сон с падающими в калейдоскопе обрывками фраз, лицами, вспыхивающим светом. Через закрытые глаза угадывалось солнце, висевшее неподвижно за мелькающими деревьями.

Первая, через час, остановка. Тенишев толкнул локтем Даню:

– Меняем лошадей. Можно выйти на пять минут.

Они вышли только вдвоем, остальные пассажиры остались сидеть с закрытыми глазами, сохраняя в себе сладость сморившей их дремы. Странная станция: ни одного дома вокруг одинокой будки, и деревни не видно, только дорога тянется куда-то через поле. Тенишев привычно подумал – не в первый раз он останавливался здесь: зачем нужна эта станция посреди дороги, не в деревне? И улыбнулся – действительно, привык уже к этому чужому, непонятному смыслу, который не хотелось разгадывать. Да и пяти минут не хватало: автобус всегда так быстро брал с места, словно извинялся за глупую и не нужную никому остановку.

Даня не успел покурить. Поискав глазами урну, бросил сигарету под колесо, идя за Тенишевым по проходу в автобусе, спросил:

– А зачем останавливались?

Усаживаясь, Тенишев развел руками:

– А вот чтобы ты спросил. Русское слово «зачем» – самое умное слово. И ответ всегда один: а ни за чем. Сказал же тебе, лошадей меняли.

– И все такие остановки дальше будут?

– Да нет, потом девушки в национальных костюмах будут стоять с хлебом-солью.

Даня достал книгу, но держал ее не открывая, смотрел в окно. Тенишев покосился на серый томик, понял, что это Достоевский. Ничего себе, чтение для дороги, подумал он. Сел поудобней, закрыл глаза.

Летними темными ночами воздух наливался духотой, и сильно пахли увядшие веники, развешанные по стенам предбанника, и казалось, что пламя свечи становится меньше. Тенишев с Даней сидели за неоструганным столом и уже давно молчали. Тенишев, сразу уступив Дане свою комнату в доме, перебрался жить в предбанник, и Даня перед сном, побродив в темноте по улице, стучался к нему поговорить, выпить иногда из припасенной еще днем бутылки.

– У тебя по-настоящему уютно, – всегда говорил он.

– Если хочешь, поменяемся, живи здесь.

– Да нет, я все же буду бояться, да и сыро здесь под утро.

Тенишев улыбнулся: какая сырость при такой духоте?

Он распахнул дверь, но свежести это не прибавило.

Сверху прокатился плавный далекий гром, и слышно было, как застучали по земле крупные, тяжелые капли дождя. А воздух переплывал в дверь, словно хотел спрятаться здесь, в сухом месте, как живое существо. Они переглянулись, глаза у Дани восторженно блестели.

– Ну что, я же говорил тебе, – сказал Тенишев, хотя не помнил, чтобы обещал этот дождь.

Они слушали, как нарастает шум капель. Вдруг Тенишев вспомнил, что сегодня складывали в копну сено и надо сейчас накрыть его приготовленным заранее куском брезента. В доме уже стукнула дверь.

– Пошли, пошли, поможем, – заторопился Тенишев.

Он видел, что Даня не понимает, куда надо идти, и не хочет сдвинуться с места.

– Ну ладно, я быстро, побудь здесь, – и Тенишев, на ходу натягивая куртку, выскочил в темноту.

На огороде, у копны, мелькал свет фонарика – отец был уже там. Тенишев выхватил у него край брезента. Подняв его над головой, они обходили копну с разных сторон, но налетел ветер, и грубая ткань вырвалась из рук. Отец негромко выругался. Кто-то толкнул в темноте Тенишева, он понял, что это прибежал и Даня.

– Держи крепче и поднимай повыше, – крикнул ему Тенишев.

Уже втроем они быстро и легко натянули брезент.

Отец нащупывал на земле кирпичи, обкладывая нижние края брезента, чтобы ветер не стянул его с копны. Дождь пошел еще сильнее. И как-то жалко было, что быстро все завершилось, даже уходить не хотелось.

– Бегите в дом, а то промокнете.

Отец легонько подтолкнул Тенишева, и они пошли не спеша, оглядываясь назад. Отец еще высвечивал копну фонариком, проверяя, надежно ли укрыли.

Постояли под навесом, ожидая отца.

– Вот, событие, – проговорил Даня.

– Почему бы и нет, – ответил Тенишев.

Он был раздражен, что не успевает из-за Даниного присутствия порадоваться этому дождю, и странным образом, одним лишь произнесенным Даней словом, возвращается внутрь себя, как в скорлупу, которая, как казалось несколько минут назад, развалилась вместе с прогремевшим громом и первыми каплями дождя.

Уже несколько вечеров, из-за духоты, накапливалось само бессмысленное время, и смысл любого сказанного слова становился нелепым.

Варюсь здесь в собственном соку, часто думал Тенишев.

Наверное, и у Дани было такое же состояние.

Подождал отец, в темноте отряхнул мокрую накидку.

– А, вы здесь, радуетесь дождю. Хоть воздух немного освежится к завтрашнему.

– Пап, а что, может, по стаканчику снотворного? – предложил Тенишев.

– Да поздно уже.

– А мы у меня, в предбаннике.

– Ну давай, только вы не увлекайтесь.

Это было красное вино. Выпили понемногу, закусили белым хлебом и ожидали, что еще скажет отец.

– В Германии, когда я молодой был, каждый вечер по несколько стаканов пил. До сих пор вкус помню. Только то вино было белым. – Отец глянул на Тенишева. – Ну что, отдыхать давайте, под дождь хорошо спится.

Отец с Даней ушли в дом. Тенишев слушал, как растворяются в шуме дождя их шаги, и думал, что этот вечер будет вспоминаться в будущей жизни.

Он смотрел, как по прожилкам неоструганных досок стола растекаются пролитые капли вина, и представлял, как будет выглядеть этот рисунок через много лет.

Эта ночь продлила себя, прорвавшись дождем, в будущее, и Тенишев знал, что будет вспоминать ее по отдельным мгновениям: по странной интонации «вот – событие», по взметнувшемуся над головой в темноте брезенту, по взгляду отца и по этим расходящимся, как на промокашке, каплям вина.

В эту ночь во сне Тенишев без конца читал какую-то книгу, текст был отчетливым и ясным по смыслу, но утром медленно и неуловимо все растаяло перед глазами, еще закрытыми.

Тенишев замечал, что у себя дома, в деревне, не может говорить с Даней так, как раньше. Тот много читал и при разговоре подолгу мог размышлять, как будто объяснял сам себе про-

читанное. Как раз было время «Бесов», «Братьев Карамазовых» – целыми днями Даня ходил с серыми томами этих книг. Тенишев почти всегда молчал и ловил себя на том, что украдкой оглядывается, будто боится, что кто-то увидит его за странным занятием – разговором о книгах. Будто сам дом в своих пределах не разрешал Тенишеву стать другим, непривычным для него.

А вечерами, после наступления сумерек, молчание захватывало и Даню. Они бродили по длинной безлюдной улице, мимо редких освещенных окон, думая каждый о своем. Тенишев запрокидывал голову навстречу полной луне и улыбался. Даня курил, часто отряхивая сигарету, и дым при лунном свете был виднее, чем днем.

– Ну что, пошли домой. Молока попей перед сном, оно в сенях на столе, – говорил Тенишев, и они медленно возвращались.

Даня еще долго ходил вокруг дома, и Тенишев, сидя за столом в своем предбаннике, слышал его негромкие, неразличимые слова.

Этими звуками нарушалась не только привычная тишина, но и весь покой, часть которого держал, таил в себе Тенишев. Он нервничал и не мог понять: почему так нарушают покой ночного воздуха эти слова с правильным ритмом, похожие на повторение забытого заклинания?

Не удавалось уснуть до самого рассвета. Тенишев выходил в серый воздух, в который возвращались очертания предметов, неподвижные ветви деревьев, – и казалось, даже неосторожный шаг может разом встревожить и привести в движение новый день. Постояв несколько минут посреди этой тишины, Тенишев медленно, как во сне, шел обратно, гасил уже ненужный свет.

Угол дома, куст сирени взрывом взметнулся под крышу – как мало надо слов для воспоминаний – достаточно первого взгляда, первого шороха листьев по стене дома, чтобы оказаться рядом.

Вечерами он любил стоять на этом месте, подолгу вглядываясь в небо, и казалось, что коротко сверкнувшая звезда вот-вот скатится по крыше и упадет рядом.

Почему-то и Даня, бродя в темноте вокруг дома, останавливался в этом месте. Его слова были неразличимы, они растворялись в темноте, повторяя один и тот же ритм. Так старуха-шептунья наговаривала на воду, держа кружку обеими руками, покачиваясь, словно убаюкивала ребенка.

Тенишев прислушивался к шепоту Дани, и время уже шло одинаковыми мгновениями, невидимый маятник повторял и повторял одинаковый смысл. И после того как Даня уходил, Тенишев чувствовал, что исчезли все слова, которые он мог подумать, и осталось только покачивание темного пятна перед глазами.

Яркий свет от лампы был не нужен – глаза все равно были закрыты. Тенишев представлял, как Даня кружит где-то рядом возле дома. Казалось, что звездное небо при этом поворачивается в обратную сторону.

Тенишев замирал за столом, он представлял, что закрытая дверь отделяет его от собственной жизни, произнесенных слов, осыпающихся беззвучно в темноте, как последние, спешащие к земле листья.

Однажды, чувствуя, что Даня где-то рядом, Тенишев толкнул дверь. Свежий воздух рванулся навстречу. Силуэт Дани угадывался на фоне светлеющего неба. Он повернулся, сделал шаг навстречу.

«Как похоже на странную дуэль с этим человеком, и как странно звучат его слова в темноте, – думал Тенишев, закрывая дверь. – Достаточно самому произнести вслух слово, и кажется, что ты до этого не существовал».

Утром, проснувшись с закрытыми глазами, Тенишев долго лежал и старался вспомнить, о чем же думал прошедшей ночью.

«Непроизносимые слова, – думал он с улыбкой, словно был счастлив в эту минуту. – И так будет продолжаться день за днем».

С умывальника мерно падали капли.

«Здесь все доказывало движение времени, даже простой умывальник, роняя капли, отсчитывал мгновения жизни», – отчетливо, слово за словом, весело подумал Тенишев.

С ним случилось неожиданное утреннее чудо хорошего настроения, когда хотелось улыбаться, смотреть по сторонам. Воздух был промыт после душной ночи. Ясность, свежесть была на листьях яблони, на траве у забора, и далекое облако у горизонта медленно выворачивалось, такое чистое на пронзительно-синем небе.

«Проснулся, как ребенок», – подумал о себе Тенишев. Он протянул руку, капли собирались в ладони. «И пришел великан, и собрал все время по каплям, и люди не знали, как жить дальше».

Тенишев умылся и подставил голову под воду, охнул и выпрямился, чувствуя, как вода стекает по спине.

Как странно, ведь ничего не изменилось в мире, не произошло ничего особенного, почему вдруг на душе легко и свободно? И отвечать не надо на этот вопрос – так вокруг все ясно и светло. Пусть там, в ночи, настаивается и остается другая жизнь. В счастливые минуты кажется, что возможно простое разрешение – ведь по-другому и не может быть?

Даня сидел на скамейке у дома, он только что проснулся и уже курил, глядя куда-то вдаль. Над лесом была дымка, и взгляд мог лежать на ней, как лист на неподвижной воде.

Это было утро, в котором не существовало границы между сном и новой, свежей жизнью, новым временем. Время оставалось тем же, вчерашним и вечным, и только настоянность постоянного ожидания – ожидания ясности главного чувства – вдруг прорвалась наружу. Чувство это не проявилось, не назвалось, а наоборот, исчезло, растворившись во всем видимом. Словно выпущенные из клетки птицы пронзили неподвижную листву деревьев и расселись там на невидимых ветках в полной свободе, собственной свободе. Легче стало воздуху, ветер смог наконец стронуться с места и пронестись в одну и в другую сторону, легко прошелестев в листьях.

Редки в жизни минуты совпадения чувств с видимым и открытым без границ миром, которому одинаково принадлежат и солнечный свет, растворенный в небесной дымке, и одинокое тихое дерево на плавном изгибе горизонта, и ты сам. Все, на что упадет взгляд, существует не в очередности выбора, а одновременно, слитно с общим покоем. Кажется, кто-то наконец взял тебя за руку и ты сделал несколько шагов, чтобы в шелохнувшемся воздухе увидеть, что все перед тобой, не изменившись, лишилось тревоги.

Это утро оставляло позади прошлую жизнь, замкнутую в огромном кольце времени, из которого побежал тоненький ручеек будущего. И странно, что новые чувства не пугали, не тревожили неизбежным выбором чужих пока слов для своего названия.

Тенишев перешел нетронутый после ночи песок улицы и пошел по росистой траве, не оглядываясь.

«Странно, странно, – подумал он, замечая, что слово «странно» повторил дважды. – Почему я счастлив? Тысячу раз я шел по этому лугу, и последний утренний туман так же растворялся в росистой траве, и на ней я так же оставлял свои следы, но какая-то торопливость была в моих чувствах, я не мог остановить череду слов, бесконечность их выбора мучила меня и приводила к полному молчанию. Сейчас я так же молчу, но почему я спокоен и совсем не ощущаю тревогу, обычно охватывающую меня в утренние часы? Хорошо, что никого нет рядом, и Дани нет: его пытливые глаза потребовали бы моих слов, и они оказались бы смешными. Есть, есть в жизни минуты, о которых нельзя ничего сказать, но которые важнее любого понимания. И эти повторения слов – есть, есть – я говорю сам с собой, подчиняясь счастливому придыханию и ритму, и это тоже радостно и понятно, как будто по-другому и не должно быть».

Странный сон приснился этой ночью: он ходил на руках. Не шутил и куролесил, а ходил естественно, словно пришло время перевернуться, встать на руки и идти, зная, что так будет всегда. Выходил по ступенькам без труда, прыгал сразу на двух руках, и легкость была во всем теле, словно его не стало вовсе.

Другим, совсем другим я становлюсь, думал Тенишев, входя в лес.

Воздух здесь был густым, холодным, вчерашним, и время шло медленней.

Все, о чем он мог подумать, превратилось только в решение одного-единственного вопроса: вот это неожиданное счастье, неожиданное состояние, которое мог почувствовать только он один, – часть собственной жизни, или наоборот, жизнь является частью огромного непостижимого чувства, приоткрывшего в это утро лишь свой край, проблеснувший, как глубокое небо среди бесконечных облаков? Голова кружилась, будто долго смотрел на небо, и оно показалось близким, достаточно было протянуть руку, но огляделся вокруг и вздрогнул, чтобы не потерять равновесия.

Хорошо, что в жизни есть такие минуты, в них уже верится, как в возможное спасение, как в образ жизни, необъяснимый и неуловимый, который почему-то похож в своем движении на обратный взгляд – извне внутрь себя.

И сейчас он пройдет по лесу, по большому кругу и выйдет опять на тропинку, из-за деревьев появится дом за лугом, и покажется, что даже на расстоянии встречается взглядом с Даней.

Тенишев подумал, что без этого человека невозможны были бы нынешние чувства. Кажется, что знал его еще до знакомства, даже в далеком детстве знал о нем столько, сколько и сейчас. В его темных глазах был отблеск того неотвратимого взгляда, который Тенишев ощущал на себе всю жизнь, и это всегда поддерживало внутреннюю тревогу.

Откровения Даня принимал с легкой, едва заметной улыбкой – после того, как внимательно и настороженно выслушивал сбивчивые слова; все никак они не попадали в цель, повторяясь в своих уточнениях. И его улыбка была подтверждением того, что словам не дано выразить сказанное.

Странно – казалось, что два человека с разных сторон, по-разному, натягивают над жизнью какое-то прозрачное покрывало, чтобы жизнь показалась пойманной.

Даня так же сидел на скамейке, и Тенишев улыбнулся про себя: вот, оставшись один, он превратился в истукана, как в сказке. Какая-то детская, запретная радость шевельнулась в Тенишеве. Он один был обладателем собственной тайны, и можно было хранить ее в себе нетронутой и живой или расстаться с ней, рассказав о ней Дане.

– Ходил молиться березкам? – спросил Даня.

Тенишев кивнул, улыбаясь, и прошел мимо, оставив за собой калитку распахнутой, зацепившейся за траву.

– Вы что, поссорились? – спросила мать. – Твой Даня целое утро просидел на скамейке. Я спросила, почему он с тобой не пошел, а он только плечами пожал.

– Да нет, мы часто так – выговоримся, а потом долго молчим. Не волнуйся.

– Иди, зови его завтракать. Не обижай его, он же не у себя дома.

«Для него везде дом», – подумал Тенишев чужие слова.

Даня встретил его словами, которые, наверное, приготовил заранее:

– Грустное это зрелище: пышущий бодростью человек, который всю ночь размышлял о смысле жизни.

– Ну пошли, я повешусь при тебе в сарае. – Тенишев засмеялся. – Только сначала позавтракаем.

– Знаешь, мне пора уезжать.

– Как там у тебя: «Я уеду из этого дома, станет пусто в холодном окне...» Я сейчас подумал: если прочитаю это стихотворение до конца, ты очень сильно обидишься. И вот – остановился. А очень хочется дочитать. Видишь, какой я великодушный?

– Дурак ты. Веселый дурак. Считаю, что я обиделся. Пусть тебе будет легче. А повеситься ты не повесишься, ни после завтрака, ни потом. Женишься, нарожаешь детей и будет тебе не до этого. И прекратишь думать о смысле жизни. Кстати, я ночью написал что-то вроде письма тебе, не знаю, почему. Как раз об этом – о твоей будущей жизни.

– Спасибо, с интересом читаю. Похоже, мы и правда хотим поссориться. И я первый протягиваю руку. – Тенишев и впрямь протянул ее. – И не буду больше в шутку читать твои стихи.

– Не можешь ты остановиться в своем кривлянии. Ладно, пойдем завтракать.

Даня поднялся и руки, даже в шутку, все же не подал.

После завтрака Тенишев ушел в предбанник, в свой кабинет, как говорила мать. Сел за стол, на котором с ночи остался лежать чистый лист бумаги. Обычно чистота страницы вызывала легкое чувство тревоги, сейчас же на душе было спокойно, и Тенишев подумал, как хорошо никуда не спешить, не стараться написать слова, которые потом окажутся замершими, онемевшими.

Желание написать какие-то еще не существующие строчки существовало сейчас отдельно, словно повисло над столом, в падающем наискосок солнечном свете.

«И так можно жить долго, – почему-то подумал Тенишев. – Забыть все обязательства, придуманные самим собой, эту необходимость просиживать ночами над листом бумаги, вглядываясь в него, ведь он так похож на новый день».

Впервые он увидел в этом листе открытость времени, и часы рядом тикали спокойно и одинаково.

Тенишев знал, что и сейчас ничего не будет писать. Странно, что в такие минуты, когда он чувствовал себя спокойным, когда казалось, что вся жизнь предстает перед ним одним неостановимым течением, – слова не могли связываться между собой, они вспыхивали поодиночке, лишь доказывая, что существуют, что они живут в нем. Кто-то думал вместо Тенишева о том, что результат, в котором слова повиснут на странице тонкой вязью, – не самое главное, и даже, скорее, не нужен такой результат. Он никогда не сможет никому объяснить этого состояния, этого внутреннего счастья.

А вдруг так и прольется вся жизнь, и все то, из чего она состоит, останется невыразимым и невысказанным? И если бы он написал в это время хотя бы несколько слов, то это была бы мысль о том, что настоящая жизнь не видна, как душа, что и чувства, и слова, их называющие, лишь окружают ее.

Кто-то подошел к двери, прошелестела бумага, которую просовывали через щель. Тенишев смотрел, как сложенные листки упали на пол, немного распрямляясь, и услышал шаги – Даня уходил.

Часы ожили и затикали быстрее.

«Пока я тут думаю о несуществующих чувствах, мне пишут. Второе послание. Как там: «Не холоден ты и не горяч...»

Тенишев взял листки, положил перед собой на стол. Бумага распрямлялась.

Какими чужими и не нужными для его жизни казались эти слова! Тенишев понимал, что Даня писал их, представляя вместо адресата какого-то третьего человека, вобравшего в себя черты их обоих. Скорее всего, он больше обращался к самому себе, но ведь просунул же в щель эти листки, словно навсегда избавился от них, оставив Тенишеву разгадывать не содержание письма, а само существование этих слов. Тенишеву казалось, что с ним проделывают непонятный ему опыт, в тайну которого он не посвящен, и от этого он испытывал растерянность.

Даня уже не робко, как раньше в разговорах, приглашал его к размышлениям о жизни по-своему, со своей интонацией, а напрямую навязывал, прививал какое-то чувство, с которым уже свыкся сам. Тенишев не понимал этого чувства, оно было похоже на обыкновенное уныние, но ощущение начала обратного мощного движения, в котором гасли желания и силы, не покидало его, даже когда он просто смотрел на эти измятые листы.

«Вот и заплакалось маленькое озерцо чувств, – думал Тенишев. – Вот и пролилось, и застынет зеркалом, застынет словами, как морозный выдох».

Он произносил эти слова внутри себя, словно призывая их в свидетели собственных мыслей. Странное, нездешнее письмо, и Даня тоже любит это слово «нездешнее», называя им все необычное. Перечитывать эти слова не захочется долго, запомнятся они с первого раза, достигнута в них простота написания и дальнейшего самостоятельного существования. И было бы это все сказано в разговоре, даже точнее и злее, или даже прочитано с этих самых листов вслух, – оказалось бы шуткой, игрой в ряду других забав. Да дело и не в том, что он здесь написал, все дело в странном желании подсунуть этот текст. И зачем ему эта непонятная дуэль?

В предбаннике становилось жарко. Тенишев вышел во двор. Солнце уже светило сверху – день стоял открытый, как часы без стрелок. В доме было тихо, на кухне мать чистила картошку.

– А где Даня?

– Куда-то уехал на велосипеде, не сказал ничего.

Тенишев улыбнулся. Он почему-то вспомнил, как давно, еще в детстве, будучи виноватым, пропадал где-то подолгу, пока не накапливалось в долгом времени прощение родителей.

Он ходил по комнатам, и казалось, что он приехал домой только сегодня: что-то новое появилось в приглушенном покое неподвижного запаха своего дома. Он вдыхал этот запах, удивляясь себе. Ведь всегда, всю жизнь до этого так хотел различить его – и не мог, хотя в чужих домах сразу же безошибочно определял, как собака, настроенность жилища: это было первое чувство, по которому он принимал другую жизнь.

И вот наконец он почувствовал запах, в котором вырос сам. Всего стало больше, все предметы двоились: книги на полках словно покачивались на своих местах, зеркало выпячивалось, стараясь вобрать в себя все пространство комнаты, по которой ходил, словно себя видел со стороны, другой, на какую-то часть отличимый от него человек.

«Наконец я повзрослел и спокойно привыкаю ко всему новому, что появляется во мне. Повзрослел, словно стал своим старшим братом, не заметив этого мгновенного перевоплощения».

Он вдруг подумал о Дане с жалостью, беспокойством, с каким думают о внезапно заболевшем.

Неужели этот искренний, открытый, как казалось, человек может специально, даже пусть в шутку, забросить наживку в виде этого письма, чтобы быть причиной ненужных сомнений? Интересная шутка интересного человека, и жалко его, дернувшего и натянувшего тоненькую ниточку между понимающими друг друга людьми, зазвеневшую вопросами и несуществующими ответами.

Даню он увидел в дрогнувшем от стука двери зеркале. Не оборачиваясь, Тенишев долго смотрел на него, одновременно видя и свое отражение.

– Посмотри, какой неожиданный получился образ человеческого общения: стоят два человека у зеркала и разговаривают с отражениями друг друга.

– Да, интересно.

– Хорошо бы всегда иметь перед собой такое зеркало. Добавилось бы искренности, или наоборот, стало бы легче что-то скрывать – как ты думаешь?

– Понимаешь, я писал как бы себе – пошутил сам с собой, а тебе просто дал почитать. Мне показалось, что ты неправильно все поймешь.

– Да, конечно, ты же знаешь, что об этом нельзя написать.

– О чем?

– Я не знаю, как это назвать – о самом настоящем, что ли. Как только брезжит что-то настоящее, ты знаешь, что об этом нельзя написать. Помнишь, ты же мне так сказал, и я запомнил эти слова как правило.

– Я не помню. Может быть, я тогда тоже имел в виду себя. Мне – нельзя написать. Тебе – все можно, ты хочешь только того, чего мне нельзя.

– Мне кажется, ты продолжаешь писать свое письмо.

– Я думаю о том, что нам пора поссориться. – Даня улыбнулся. – Чтобы отдохнуть друг от друга.

– С тобой не поссоришься. Вообще – ничего не надо. Как только начинаешь что-то говорить со слова «надо», значит, как раз этого и не надо. – Тенишев тоже улыбнулся. – Значит, скажи: «Нам не надо ссориться», – и обязательно поссоримся. А ведь действительно надоело как-то по-дурацки шутить. – Он не удержался и добавил: – Это – не события.

– А вот это я помню и удивляюсь, как ты всякую мелочь запоминаешь. Словно хочешь наизнанку все вывернуть. Все-таки во многом я прав в своем письме.

– Ну вот и попался. Осталось тебе только надписать на нем имя адресата – мое. Ладно, я не обижаюсь: кто еще нас поймет, кроме нас самих. Тоже мне, нашлись Лермонтов с Грушницким.

– Ты интересно оговорился. На самом деле – Печорин.

– Какая разница. Их вместе – трое. Как нас с тобой. Знаешь что, пошли к бабушке моей сходим вместе. Ты ведь у нее еще не был?

– Почему к бабушке?

– Помнишь, я тебе рассказывал о старухе, к которой я как-то зашел, когда в городе квартиру искал? Тогда ты и сказал, что об этом нельзя написать. Наверное, та старуха напомнила мне бабушку. Вот и сходим сегодня к ней вместе. Она семь лет уже не встает, упала с лестницы и вот уже семь лет лежит. Я часто думаю о том, во что может превратиться жизнь за семь лет, когда человек прикован к постели. Тебе хочется прекратить нашу болтовню? Пойдем – и нам будет стыдно.

– Ты пойдешь туда специально, для того, чтобы стало стыдно? Как это удобно – наверное, и идти недалеко?

– Да, тебя не обскачешь. Ты делаешь мгновенные выпады.

– Да, наверное. Знаешь, я понял, что я могу нас поссорить, а ты – нет. Правда, не знаю, что лучше. Ни то, ни другое не может быть лучше. Пойдем к твоей бабушке, если ты не передумал.

– Да, и ты будешь наблюдать. Меня, себя – и вообще, тебе не страшно, что ты только это и умеешь?

– Но ты же хочешь со мной соперничать в этом – не надо, не надо уметь наблюдать. Ты крайний, ты живешь как бы изнутри – ты так ведь о себе думаешь? Я сегодня утром увидел твое счастливое до глупости лицо, когда ты в лес направлялся, и это было смешно.

– И ты решил дать мне письмо – охолопись, мол, подумай о том, что волнует умных людей.

– Я устал от нашего разговора. Ты заметил, что мы уже запутались, кто из нас говорит, а кто слушает. Значит, я все-таки поссорил нас.

– Мне все равно.

Даня вышел из комнаты.

Тенишев сел к столу. Перед глазами было окно, как в детстве, и все в комнате не изменилось за годы, разве только выщел внутренний воздух. Нет, скорее это был сумрак, в котором свет жил, как домовый. С детства Тенишев и представлял домового не существом, а растворенным духом – даже детского обмана он не перенял из сказок.

За этим столом он делал уроки, читал книги и сейчас подумал: неужели взросление, которого так ждал в детстве, обернулось теперь нелепыми в своей бесконечности разговорами? Почему так много сил, опыта, который всегда хочется собрать горстями перед собой, чтобы взглянуть на него – что такое опыт? – тратится на пустую дуэль с человеком, который, наверное, только этого и ждет все время, только этим и живет? И поэтому кажется, что вся жизнь превратилась в колебание маятника, в крайних точках которого видишь себя.

В соседней комнате, за закрытой дверью, струился тихий разговор. Разговаривали Даня с матерью. Тенишев удивился легкому переходу Дани от одного разговора к другому – лишь только дверь была границей этого перехода – и с какой-то детской обидой подумал о том, что и там, в той комнате, Даня занял его место.

Тенишев прошелся по комнате, прислушиваясь к голосам за дверью.

«Я подслушиваю – как все странно, и как странно идет здесь жизнь с тех пор, как я привез сюда Даню. Ничего не происходит, а мне кажется, что густеет воздух, нарастает какое-то напряжение вокруг меня и во мне самом, и так похоже на то, что я читаю книжную страницу, не глядя в текст, а стараясь просветить своим взглядом книгу насквозь. Так можно сойти с ума».

Тенишев вдруг вспомнил, как в детстве – и это укрепилось в воспоминаниях, рассказах родителей о его детстве – сказал о ком-то, о ком родители только что говорили: «Он с ума сошел», – «Он туда с ума сошел». И показал рукой, куда ушел человек.

«Да, я туда сошел с ума, куда только что вышел Даня, за дверь, за которой стараюсь расслышать слова, и кажется, что я сам сейчас там нахожусь».

Мать рассказывала о нем. Тенишеву казалось, что он впервые слышит, как мать говорит о нем с чужим человеком. И это был не разговор: в то время, когда должен был говорить Даня, повисала пауза, которую мать не выдерживала и вновь продолжала говорить, словно Даня уступал ей свою очередь.

– Кроме меня еще никто не знал, что он должен будет родиться, я сказала мужу об этом, и мы подумывали уже о том, чтобы к акушерке обратиться. Времена тяжелые были, а у нас уже тогда трое старших выросли, я подумала, трудно будет опять маленького растить. В ту ночь приснилось мне, будто я держу в руках ружье и хочу прицелиться в маленького мальчика в красной рубашке. А он прячется за бочку, приседает за нее, я уже и о ружье забыла, хочу лучше рассмотреть лицо мальчика и знаю, что он боится меня, не хочет показаться, прячется. Проснувшись утром, мужу рассказала, потом побежала к своим подругам – самые лучшие у меня подруги были, Сима и Роза, – им рассказала, и они стали меня ругать. Что ты, мол, надумала, это он ведь боится, что ты не родишь его, и к акушерке надо идти, только не с глупостями своими, а чтобы обязательно родить. Так что я Ваню еще до его рождения увидела. А в три года заболел он сильно – воспаление легких. Врачи сказали, что только пенициллин может спасти. И я опять к своим подругам. Пока Сима меня успокаивала, Роза куда-то к своим сбегала, принесла лекарство, даже врачи удивились, как так быстро можно было в нашем райцентре достать этот пенициллин. Хотя сейчас мы с подругами и редко встречаемся, но они всегда спрашивают: как там наш мальчик в красной рубашке?

Даня все так же молчал, и Тенишев в наступившей паузе распахнул дверь. Мать поняла, что он слышал ее рассказ, виновато улыбнулась:

– Вот, рассказываю твоему другу...

– Я слышал. Сейчас Даня вспомнит, что в нашем райцентре у него есть две тети. Поедем в гости – к тете Розе и тете Симе. Даня любит такие сюжеты.

Даня улыбался, глядя на мать, словно прося извинения за Тенишева.

– Мама, мы и так дружим с Даней, не надо еще добавлять своих подруг. Наверное, родился бы я и без них.

– Мне просто стыдно за тебя. Ты такой нервный в последнее время стал. Вот и Даню стараешься обидеть. Надо спать ночами. Свет до утра в твоём предбаннике горит, ты там думы думаешь, потом ходишь злой на всех. Ну все, садитесь за стол.

– Я к бабушке собирался сходить. А вы пока поговорите.

Тенишев вышел на крыльцо. Впервые он чувствовал себя чужим в этом доме, и причина была не в разговорах, не в том, что Даня наблюдал его, не скрывая своего любопытства, – Даня всегда любил присутствовать рядом с человеком расстроенным, нервным, не понимающим своего состояния. Тенишеву уже и это стало безразличным, пусть себе забавляется молодая душа. Но он почему-то подумал, что уже никогда не сможет легко жить в этом доме взрослым, словно дом был родным только в далеком детстве, и это время прошло безвозвратно.

Здесь он в детстве любил будущую жизнь, и она не могла никогда быть названа словами. И вот уже наступила эта жизнь, это время, в котором нет обратного движения чувствам, и одиночество заставляет душу выдумывать слова, пустые и невесомые.

Захотелось побыть одному, хотя бы минуту. Он свернул во двор – шаги гулко отдавались в стене дома – и улыбнулся: осталось еще чувство, что дом живой. Но тут же с горечью подумал: а надо ли улавливать это чувство, если оно уже не так необходимо?

Дверь в предбанник была распахнута, и Тенишеву показалось, что внутри кто-то есть. Наверное, он не удивился бы, если бы увидел там себя или Даню: странным был весь этот день, и все уже казалось возможным. За столом сидела Тамарка, глаза ее блестели и смеялись.

– Побоялась сразу в дом зайти. Заглянула сюда, на старое место. А здесь все как год назад. Я и вчера ночью приходила, посмотрела с улицы на свет, только не стала навязываться, погуляла по деревне одна, пусто, все как померзли, молодежи совсем нет, ты давно приехал?

Тенишев улыбнулся. Она могла так болтать без остановки, спрашивая и не дожидаясь ответа, совсем не изменившись за год. Как будто вчера здесь была.

– Ты откуда свалилась? Знаешь, ночью я бы не удивился, а сейчас – ну все перепуталось.

– Почему сам не зашел, тебе ж скучно здесь, после города?

– Правду сказать?

– А что?

– Ничего. Я просто о тебе ни разу не вспомнил. Ни разу с тех пор, как приехал. Сейчас вот удивляюсь этому и думаю, вспоминал ли о тебе вообще за этот год.

– Ну и что? Что я, маленькая, я же понимаю. Ты сказал, что ни разу меня не вспомнил, а я не обижаюсь, даже наоборот, к тебе потянуло. – Тамарка взяла его руку, посмотрела на ладонь: – Хочешь, погадаю? Вот линия жизни, видишь, какая ломаная, прерывистая, чудом соединяется. И никого рядом, никого. А я твою ладонь помню, раньше не такие четкие линии были.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.